

Виктор Гусев-Рощинец



**ШПИОН
НЕИЗВЕСТНОЙ
РОДИНЫ**

Роман

Виктор Гусев-Рощинец

Шпион неизвестной родины

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18400770

ISBN 9785447474652

Аннотация

«Шпион неизвестной родины» воссоздаёт атмосферу русской советской действительности второй половины двадцатого столетия. Он сочетает в себе роман воспитания и историю любви, оттенён научной и морской романтикой, приправлен небольшой долей безобидного кринила и полон ностальгического очарования. Искушённый читатель без труда найдёт в нём отзвук «Истории бедствий незабвенного аббата Прево».

Содержание

1. Музыка	5
2. Наука	51
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Шпион неизвестной родины Роман Виктор Гусев-Рощинец

*...пришли на солнце-заход старыми и
поздними и стали у отметки Геркулесовых
Столбов, на этот малюсенький оставшийся
промежуток жизни и света, малюсенький
промежуток того, что осталось от ваших
чувств.*

Данте, «Божественная комедия»

© Виктор Гусев-Рощинец, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1. Музыка

«Грустного бэби» мы давали на бис. В темпе блюза, в ля-миноре. Мик Джаггер тогда ещё под стол пешком ходил. А может и не родился. Простенькая мелодия, а вот поди ж ты! То ли несчастная любовь, то ли судьба маленького американского бутлеггера так волновали нашу танцевальную аудиторию, что она взрывалась аплодисментами всякий раз, когда я ещё только исподволь, почти неслышно брал первую ноту и начинал синкопировать вниз по нисходящей, отработывая вступление. А потом: «Come to me my melancholic baby...», ми, фа, фа-диез, соль, ре, та-та-та-та-та... Что тут начиналось! И кто бы мог подумать, что в этом захудалом доме отдыха со странным названием «Ровки» окажется настоящий концертный рояль, «Бехштейн», с глубокими бархатными басами и металлом в голосе на верхних октавах. Когда собирались ехать, я сказал Женьке, так просто, от нечего делать, возьми трубочку, мол, я сам понесу, научишь меня долгими зимними вечерами, надо повышать квалификацию, настоящий джазмен обязан владеть всеми инструментами, и начну я – с твоего кларнета. И когда поехали, я забрал у него футляр и правда понёс. Обожаю кларнет! Мои родители совершили ошибку, купив мне старое пианино, вместо того чтобы потратившись много меньше приобрести обыкновенный тенорок-сакс. Но их можно понять – в сорок ше-

стом о таких экзотических инструментах в наших марьино-рощинских пенатах и слыхом не слыхивали, не то что родить шальную мысль о джазовой карьере единственного отпрыска. К операции привлекли всех близких и дальних родственников, гремел набат, летели гонцы, и наконец пришло известие, что на подмосковной даче самого – подумать только! – Ипполитова-Иванова (я по невежеству спросил: кто это?) ждёт нас отличный инструмент всемирно известной фирмы «Sponnagel», осиротевший по причине безвременной кончины хозяина. Не знаю сколько за него заплатили. Думаю только, что заплатили бы и вдесятеро – речь шла, не много, не мало, о спасении моём (а я-то и не знал!), как потом говорила мама, от *дурного влияния двора*, которое следовало преодолеть во что бы то ни стало. И то верно! Засадить за клавиши двенадцатилетнего парня, насквозь пропитанного оным «дурным влиянием» (забирай выше!) – это была гениальная идея. Думаю, она принадлежала отцу. Он был отъявленный мечтатель. А потом подвалила эта чувиха, и «колесо истории» повернули вспять. Крутанули со страшной силой. И я свалился с него и полетел в пропасть, а точнее сказать, побежал по открытому, хорошо пристреленному полю, петляя зайцем, чтоб не получить в спину порцию свинца. Как тот симпягя Эдди из «Ревущих двадцатых» Рауля Уолша. В темпе блюза, в ля-миноре. Синкопирую вступление. Папа нанял грузовик и покатыл на композиторскую дачу. Я даже не знал. Во дворе шла подготовка некого действия, как теперь

сказали бы – акции. Объектом выступал (по старой памяти, пояснил Чугрей) наш достославный марьинский «Мосторг». Коля Чугрей, могиқан, говорили даже – из «Чёрной кошки» в бытность её ещё довоенную, уже отмотавший не один «срок» – Коля собрал нас, дворовую мелюзгу в своём кирпичном флигельке у дровяных сараев, бывшей дворницкой, чтобы дать последние наставления. В это время они и подъехали. Прибежал кто-то из «котят», что по обычаю наших сходок стояли на стрёме, и шепнул Чугрею, одновременно ткнув пальцем в мою сторону. Мне и в голову не пришло. Выйдем на минуту, сказал Чугрей, и мы все вышли во двор и увидели, как на ремнях спускают с грузовика это доисторическое чудовище с бронзовыми подсвечниками. Неподалёку стоял мой папа в соломенной шляпе и давал указания грузчикам. Когда ситуация прояснилась, и мы пошли назад (всё это время я старался держаться за спинами товарищей, с ужасом думая о своём позоре), – мы пошли назад, чтобы достойно завершить прерванное совещание, и тогда Коля – сам Николай Иванович Чугреев, вор в законе, положил руку мне на плечо и ласково произнёс: «Учись, сынок. Когда-нибудь заменишь меня». О, это был звёздный час! Его проникновенное «учись, сынок» оказалось таким действенным стимулом, каким, наверно, не могло бы стать ничего, даже родительские посулы никогда не отправлять меня в пионерский лагерь, а снять дачу на лето в Подмосковье, или отправить к бабушке в деревню. И я стал учиться. Станным

образом оказался у меня слух, да не простой – абсолютный (во что при нынешней глухоте трудно поверить), через месяц я уже мог назвать любую ноту, предложенную мне звучащей. Моя старенькая учительница вразброд ударяла по клавишам и с некоторым удивлением на меня поглядывала, если я вдруг ошибался, например, говоря «фа» вместо реального «фа-диез». Ошибался я редко, а прошёл год, и перестал ошибаться вовсе. Нежданно подстерегла другая беда: я забросил уроки, посыпались двойки, и мне пригрозили исключением из школы, – последняя гордилась титулом «образцово-показательной», как теперь сказали бы – «элитарной», меня устроили туда «по блату», и хотя отстояла она далеко, аж на Божедомке, вернуться в Марьину Рощу означало бы крушение семейных амбиций. Но и выбранная стратегия не отвечала цели: «бандитский двор» не только не отдалился от меня – или я от него – но стал в некотором смысле ещё ближе. Когда я садился музицировать, то распахивал окна, выполняя тем просьбу дворовой аудитории, изложенную устами Чугрея: «Как можно громче». Кто бы мог подумать, что в заскорузлой воровской душе кроется меломан! То был первый этаж, с моего вертящегося табурета я видел уголок карточного стола и затылок нашего кумира и наставника, стриженный «под бокс». Игроки вели себя тихо, как и положено приличной аудитории, не вступали в перебранку, возможно, лишь повинувшись воле признанного вождя. Терпеливо ждали окончания моего урока, восходящего от гамм

и трезвучий к упоительным «Временам года» и венчаемого всеми любимой «Муркой». Я делал паузу и потом начинал негромко аккомпанировать в темпе классического фокстрота, переходя на «форте» по мере нарастания хоровой партии, где выделялся, воспаряя над тополями, чугреевский серебристый тенор. «Всю нашу малину ты зашухарила...»

Шухер навели позже – когда я уже играл Рахманинова и заканчивал музыкальную школу, что в Лазаревском переулке, у синагоги, а дома занимался при закрытых окнах. Подросшая дворовая компания не желала слушать моих джазовых экзерсисов, а я возненавидел «Мурку». Летом пятьдесят третьего прибыло пополнение из амнистированных, за карточным столом стало шумно, а на окнах отец устроил деревянные ставни во избежание непрошенных визитов моих друзей. Дружба дружбой, сказал папа, а денежки врозь. Тем же летом я покончил с «элитарной» десятилеткой. Я не собирался, да и не смог бы при всём желании «заменить» Чугрея, но выйти из игры оказалось непростым делом. Пришлось выбирать карьеру. Стать профессиональным музыкантом, поступить в консерваторию – нет, для этого надо было раньше начать или родиться позже, или ощутить себя гением, «почувствовать пуповину», как сказал мой *нормальный* (по определению мамы) друг и музыкальный однокашник Женя Щукин. Нормальный – в смысле не со двора. Наша семья не только являла собой «техническую интеллигенцию», но и была привержена, включая – позже – меня, «научно-тех-

ническому прогрессу». В те годы мы все хотели стать «бауманцами», «маёвцами», «физтеховцами», на худой конец, «менделавочниками» или «мифивцами». Начиналась холодная война, Черчилль уже произнёс свою знаменитую фултонскую речь, и мы жаждали укреплять могущество Родины.

И все мы стали теми, кем хотели стать, что ж до меня, то прежде я должен был «отработать» любовь, которую питал ко мне, возможно, за то что я так долго услаждал его слух, вор в законе по кличке Чугрей. Сам того не предполагая, я оказался «обязанным», в доказательство чего были приведены достаточно веские доводы, весьма напоминавшие мелкий шантаж. Сладкоголосый тенор Чугреев с лицом Габена и повадкой осведомителя вынул из тайника в дровяном сарае толстый гроссбух и стал перелистывать от начала, ведя по страницам сверху вниз холёный мизинец с сантиметровым полированным ногтем. В некоторых местах он задерживался и зачитывал короткую протокольную запись, насколько я успел заметить – зашифрованную, но неизменно содержащую сведения о моём личном, непосредственном участии в той или иной «акции». Палец замирал довольно часто. В завершение беседы был подведен итог: лет пять-семь, но не больше восьми. Нет, не больше, продолжал успокаивать меня Чугрей, когда мы вышли уже на воздух и направились к «дворницкой». Хорошо, сказал я, но дай слово честного вора – в последний раз. Он сказал: «Клянусь жизнью старушки-мамы». Перекрестись – я зачем-то потребо-

вал. И Чугрей осенил себя широким размашистым крестом.

В нашем кругу давно бытовала уверенность в том, что между Марьинским «мосторгом» и примыкающим к нему заводом «Красный штамповщик» (кастрюли, сковородки, метизы) имеется подземное сообщение. Помнится, я сам и подбросил этот ставший мне известным со слов отца факт прямо на карточный стол во время особо сильной перебранки, грозящей перейти в драку. Мол, кончайте, ребята, а лучше вот что я вам скажу... «Откуда знаешь?» – спросил Чугрей. От верблюда, сказал я. «Божись». «Падло буду», – сказал я. Я знал что говорил: до того как уйти в министерство отец работал на «Красном штамповщике». Чугреевский гроссбух содержал эту мою «наводку» пятилетней давности.

Я пришёл к отцу и сказал просто: *меня пришьют*. Сам выходец из Сокольников, не иначе прошедший школу тамошних уроков и познавший истину: «блатари – не люди», – отец побледнел и молча нарисовал схему. Через пять минут она была у Чугрея. Проникнуть на завод было нетрудно.

Такова преамбула. По-русски – присказка. Сказка, понятно, впереди. В темпе блюза, в ля-миноре. *Come to me my melancholic...* Потом, значит, подвалила та чувиха «...и была как в своей компании» – сказал бы мой тогдашний литературный кумир. Женя первый заметил, говорит – Белоснежка и семь гномов. Они так и ввалились, всей гурьбой, обед уже к концу подходил, и расселись за двумя столиками по соседству. Как это часто случается в конце января, стояли ясные

дни с лёгким морозцем, за окнами простирались заснеженные просторы, искрящиеся в ожившем после долгой хмари, воспрявшем солнце. Кажется, она и села так, чтобы видеть законную даль, а не серенькое убранство нашей столовки и раздаточную с унылым ассортиментом блюд. Какой же русский не отвеживал эту знаменитую «рыбу жар. карт. огурц»? Девушка, я наблюдал, съела ровным счётом три ложки супа, ковырнула вилкой в котлете и всё отодвинула от себя с милой гримаской неудовольствия. «Гномы», к тому времени уже поглотившие свои порции блюд, с готовностью приняли отринутое Принцессой, затеяв при этом суетливую делёжку. В какой-то момент она повернула свою пышноволосую головку, и глаза наши встретились. Глаза не умеют лгать, – в её глазах была просьба о снисхождении, подкреплённая мимолётным, едва уловимым пожатием плеч и виноватой улыбкой, удивительно скользнувшей по лицу мгновением чистой, неудержимой радости. Нет, никакого злорадства! Скорей, ободряющая усмешка, которую мы с Женей могли бы принять и на свой счёт, и, в общем, так и сделали, заулыбались в ответ, а Женька ещё поманил пальцем, не очень-то, прямо сказать, учтиво, мол, пересаживайся к нам, за наш столик, на что она теперь ответила жестом глубокого (мы расценили) сожаления. Старший «гном» неодобрительно посмотрел в нашу сторону и что-то сказал ей, она рассмеялась, а за ней рассмеялась и вся семёрка, мы вправе были считать это за оскорбление, но в таком случае нам бы следовало, как

говорили в старину, искать удовлетворения, и тогда начало студенческих каникул, что так долго мы ждали, и на которые возлагали немало тайных надежд, – наши прекрасные, светлые, весёлые зимние каникулы были бы непоправимо испорчены неуместной ссорой. Я сказал Женьке: смеётся тот кто смеётся последним, – и в ответ на мои слова он громко расхохотался, а вслед за ним и я тоже, и таким образом создалась окрест атмосфера всеобщего беспричинного веселья, могущая, мы решили, послужить основой единения. Эти ребята с «соседнего двора» были в общем-то довольно симпатичны, а «старший гном» так и вовсе душка, – увалень с ухватками деревенского пастуха, он был, по всему, чуть старше всех в этой компании. У Женьки хорошая память, он сказал – «с лицом пучеглазого свечегаса показывался на опушке пастух» – и мы снова расхохотались. После чего они ушли, а потом оказалось, что он киномеханик, и мы подружились.

В тот же вечер мы и сделали это сногсшибательное открытие. Ваня крутил что-то советское, не упомню, мы пришли с опозданием, в темноте могли только понять, что зрительный зал велик, очевидно, старинный барский дом подвергался основательной перестройке, или то была обыкновенная бальная зала, где оставалось только выгородить сцену и поставить кулисы. Что и предприняли новые хозяева, вдобавок оснастив этот живописный корабль, парящий над печальной равниной, – снабдив его по странной прихоти орфической

лирой, возможно, в память о годах, когда под этими сводами звучала музыка, и танец думал, что он будет длиться вечно. Я буквально вцепился в подлокотники, пытаюсь различить в полусвете мерцающего экрана очертания, угадывая профиль старого друга, с бьющимся от волнения сердцем, и уже готов был ринуться на эстраду, чтобы сдёрнуть с живого тела саван-чехол. Женя предупредил мой необдуманый порыв. «Успокойся, он будет наш». У моего бывшего друга, ныне здравствующего, ум аналитика и темперамент стратега.

Вторая половина пятидесятых была временем пробуждения. Створы железного занавеса прогнулись изнутри и треснули под напором молодого племени, возмужавшего в послевоенном, очищенном западными ветрами воздухе. Это не было, как принято говорить, американской культурной экспансией. Русская культура, претерпевшая беспрецедентный исторический упадок, дотянулась таки до кислородной подушки и жадно вдыхала аромат «потустороннего», глотками пила свободу. Сущность истины, говорит Хайдеггер, это свобода. Мы ещё этого не понимали, но музыка, кино и книги, пробивавшиеся через трещины нашего советского застенка, кружили голову, как это бывает, когда стоишь над обрывом или идёшь над пропастью по висячему мостику. Музыка приходила в «трофейных» фильмах и жила в сердцах. А сердца тосковали по чему-то такому, чего никогда не может быть. Вот это мы знали точно. Мы никогда не увидим обетованной земли, потому что наш корабль сбился с курса

и к тому же потерял паруса, а капитан заперся в каюте и за-пил. Непередаваемое чувство! Одна музыка только и была способна выразить его. Наш музыкальный фанатизм питался страданием. Оно, впрочем, единственно и питает творче-ский дух. Если тот не питается ненавистью.

Когда зажёгся свет, мы ещё посидели немного, дожидаясь пока немногочисленные зрители покинут зал. На всякий случай Женя придерживал меня за руку, давал понять, что минута нашего торжества ещё не настала. Снова погасили свет – это Иван Петров Дерюгин, киномеханик, «старший гном», радетель экономии, посчитал его ненадобностью для двух чудаков, наверняка он видел нас из своей будки и таким образом вершил маленькую нестрашную месть за наше неуместное веселье во время обеда. Зато луна во всём блеске своей полноты стояла за окнами, лишь отряхиваясь иногда от докучливых облаков, чтобы снова и снова расстилать в интерьере дымчатые подрагивающие световые блики. Они были красивы, наполненный ими зал преобразился, раздвинулся, как бы открылся небу – чёрному, бездонному, морозному, тихому небу. Музыкантам не нужен свет – только тишина.

Женька на цыпочках пробежал к выходу и скрылся, мы поняли друг друга без слов: *кларнет*. Я же двинулся к эстраде, с бьющимся сердцем преодолел её четыре, исподножья, ступени и приблизился к зачехлённому роялю. Наверно если бы он оказался щербатой больной развалиной, я б умер

от огорчения. К счастью, этого не случилось. Я осторожно стянул то что сказалось плюшем, и отполированное «крыло Орфея» сверкнуло воронёной сталью. Я поднял его и упёр на чеку. В жилистое спящее чрево просочилась луна, высветив бронзовеющую изнанку чуда. Моё благоговейное отношение к этому инструменту и впрямь было таким, что едва ли не граничило с религиозным экстазом, ожиданием чудесных свершений. «Только посредством музыки и сквозь музыку мы познаём великолепия, находящиеся за гробом». Кажется, он сказал то же и о поэзии, но теперь я уж не могу точно припомнить (а тогда и вовсе не знал) этой удивительной бодлеровской сентенции.

Мне показалось, протекла вечность, пока Евгений снова не появился, неся двумя руками, прижав к груди, как маленького ребёнка, футляр с иным, но не менее животворным чудом, которого я жаждал приобщиться не далее как несколько часов назад, – теперь же на их месте зияла вечность. Так возвращаешься в страну, в город, в семью после непродолжительного разрыва или просто отлучки – но прошедшее растянуто в бесконечность.

Это было поразительно! В глуши, в затерянном среди равнин и лесов обшарпанном доме с претенциозными колоннами по фасаду и кирпичной пристройкой в казарменном стиле, – в этой жалкой смеси онемевшей гордости и беззастенчивой нищеты жил несломленный дух великих умельцев и смиренных творцов Музыка. Собственной персоной ста-

ринный «Бехштейн» обнажил передо мной могучую грудь, приглашая коснуться волшебной костяной кольчуги. Ещё не садясь, я сыграл сначала первую часть рахманиновской прелюдии опус 3, посвящение Аренскому, затем «Лунную», знаменитое начало, уже сидя. Евгений вытащил из кулисы и принёс продавленный стул и подтолкнул к нему, слегка нажав на моё плечо. Теперь можно было взяться и за вторые части – там нужна была высокая техника. Мы всегда разминались на классике. Предпочитали Баха, его невероятная глубина при всей простоте, едва ли не примитивности формы всегда поражала, у меня не было и нет тому объяснений. Но, бесспорно, есть в каждом великом творении некий духовный слой, в сущности, и составляющий культурную ценность.

Итак, мы разминались, одновременно дыша неувядающей поэзией классики и разогревая руки перед тем как начать творить. Я не случайно употребил это слово, импровизация – всегда творчество, а именно это было нашей страстью. Мы задавались темой, и она уводила в лабиринты политональных гармоний, из которых мы старались выбраться с честью, и чаще всего нам это удавалось, но путь, проделанный от входа к выходу, след его, растворялся подобно инверсионному следу в атмосфере.

В зал кто-то вошёл, за нашими спинами зажёгся свет. Как долго мы играли? Этого никогда не знаешь. Ибо пребываешь в вечности

Конечно, это были они, «гномы». После паузы, которую

обычно выдерживает воспитанный слушатель, чтобы удостоверить в подлинном окончании «звука», раздались аплодисменты. Ребята были не чужды музыкальной культуры. Это нас примиряло ещё более, если считать началом примирения то всеобщее заобеденное веселье. «Свечегас» и «Белоснежка» поднялись на сцену. Когда человек приближается на расстояние вытянутой руки, то впечатление претерпевает иногда стремительную метаморфозу по отношению к тому, что было на расстоянии. Скорей всего, так и случилось, потому что даже теперь, много лет спустя, я помню то глубокое удивление, которое охватило меня при вид этих двоих, когда они подошли, и мы все обменялись рукопожатиями и, вероятно, в замешательстве даже Евгений протянул мне руку, и я с чувством потряс её, – это, впрочем, можно было счесть взаимным поздравлением по случаю неплохого дебюта.

Удивительным был контраст. В таких случаях принято употреблять сравнения и ссылаться на классику. Рискую показаться смешным, но ведь нам было по двадцать, и совсем недавно ещё мы зачитывались романтиками и каждый в меру воображения пытался представить себе *Морского Волка*, *Человека, который смеётся*, *Следопыта* и всех прочих героев бессмертных книг. Герои нашего детского чтения поражали силой или безобразием, но женские образы растворялись в дымке непредставимого, потому что красота, которой они, как правило, были наделены, по меньшей мере неизреченна. Известно, что наиболее искушённые авторы ставят на место

женского портрета, который был бы должен свидетельствовать о выдающейся красоте, – вместо него они воздвигают фигуру умолчания.

Так же поступлю и я, и даже умолчу её имя, оставив то, что родилось тогда, когда мы впервые встретились глазами, – Белоснежка. Думаю, что и «гномы» явились лишь по контрасту – милые, симпатичные ребята, правда что, за давностью мне трудно их различить, но – всё же гномы по сравнению с этой девушкой. А вот что касается Ивана Дерюгина – «Свечегаса», – это был настоящий Квазимодо. И вряд ли тут можно что-нибудь добавить, разве что напомнить о том: горбун.

Он представил её как свою невесту. Мы, разумеется, не подали вида, хотя и без лишних слов понятно – как были удивлены и раздосадованы столь вопиющей несправедливостью судьбы.

Судьба? – это была она собственной персоной! Женщину-судьбу узнать так же легко как в ясный день различить на горизонте знакомый берег, встречи с которым долго ждал. Говорю это как человек, проплававший если не половину жизни, то во всяком случае немалую её часть. Женщину-судьбу узнаёшь в себе – по совмещению, сцеплению внешнего и внутреннего, переживаемого как удар тока. За ним может ничего не последовать – и это всего лишь значит: не взял судьбу в свои руки, не воспользовался случаем.

Но бывает и так: женщина переплетает судьбы других, са-

ма оставаясь в стороне или исчезая вовсе. Она может убежать, умереть, уйти в монастырь, а те чьи дороги она скрестила так и будут идти до конца «по направлению к стране заката».

История замешалась на старых фильмах. Горбун-свечегас, киномеханик Иван Дерюгин раздобыл по просьбе студенческой братии «Ревущие двадцатые» и крутил несколько вечеров подряд ко всеобщему неослабевающему удовольствию. Всякий раз по окончании действия мы с Евгением брались за инструменты и начинали развивать темы, которые нам удавалось выделить и попомнить в ненавязчивом на первый взгляд простеньком звукоряде. «Грустный бэби» несомненно был выдающимся шлягером, хитом номер один, но помимо того в картине были и другие мелодии, достойные хорошей аранжировки.

Нехватало ударника. Что-то Ваня всё порывался там отбивать ритмы на спинке стула и, надо сказать, неплохо это у него получалось. Я в шутку предложил ему «присоединиться» (а может быть, не шутя, но по некоторому беспокойству, различая как бы в тумане очертания крупного, загадочной формы сооружения, которого предназначенность заставляет теряться в догадках). По-видимому, он только и ждал чтоб его позвали. Немедленно явились на сцене два барабана – воспоминанием о пионерском детстве, с красными галстуками и летними лагерями. Должно, и в этом благословенном краю трубили в горны и выстраивались в линейки. Де-

ревенский мальчишка Иван Дерюгин, однако, взирал на всё происходящее за забором восхищёнными глазами, чувствуя как проваливается куда-то и замирает сердце, пронзённое барабанной дробью. Серебряные звуки трубы вновь наполнили его жизнью, как если бы святой дух, нисходя к нему всякий раз по этим звонким ступенькам, настойчиво понуждал ко второму рождению. Человек вторично рождается в поэзии, в музыке, в мысли, в любви. Но может и не родиться вовсе.

Когда началась война, и белокрылая пионерская стая выпорхнула в родные края, Иван Дерюгин пробрался в заброшенный лагерь, взломал преграждавшие путь замки и выкрал из «красной комнаты» барабаны, а заодно и трубу, к которой, впрочем, не умел подступиться. Он приручил её позже, а тогда взялся за барабан, тот что поменьше, и барабанил вплоть до прихода немцев. Был очень удивлён, что те *не звери*. Прибежал к матери, то ли с удивлением, то ли с восторгом восклицая: «Они – человеки!» В деревне жестокостей не чинили, молодой постоялец-офицер даже выказал интерес к увлечению мальчика и, обнаружив себя мастером ударного дела, преподавал урок обращения с палочками, а ещё соорудил ножной молоток для «большого инструмента» (так и сказал – по-русски, уже говорил неплохо, с матерью беседовал «про любовь», склоняя, не иначе, к совместной постели). Иван про постель понимал, да не придавал значения – Александра Дерюгина, как и многие её односельчане полу-

чила «похоронку» в первые дни войны и уже оплакала мужа, а кто знал – сколько было впереди жизни под новой властью? Стыдно сказать: надеялись ведь на перемены – к лучшему. Уходя, безвестный музыкант преподавал Ване последний урок, точнее, первый и последний урок нотной грамоты – с помощью пионерской трубы, которая неожиданно запела в его руках таким чистым и таким пронзительно-печальным голо-сом, что бывшая при том мать даже заплакала от умиления. Возможно, она заплакала от чего-то другого, потому что плакала потом часто и подолгу, украдкой от сына. Она больше не вышла замуж – не оттого что жила прежней любовью, просто-напросто мужское население этих мест поредело до такой степени, что деревня стала походить больше на становище амазонок.

От роду двенадцати лет Ваня упал со стога на колхозном покосе и повредил позвоночник. Развился туберкулёз, Может, ещё от недоедания. В районной больнице, где был поставлен диагноз, только развели руками и успокоили тем, что процесс, возможно, затухнет сам собой по достижении возраста. Александра не очень поняла, какого именно «возраста» следует ждать, но то что мальчика надо хорошо кормить – это она усвоила крепко. Были ещё какие-то лекарства – Иван точно не помнил как они назывались, помнил только несметные килограммы нутряного сала, что, будучи разведенными в горячем молоке, мать вливала в него едва ли не силой. Процесс и впрямь затух, однако оставив по-

сле себя не то что очень большой, но отчётливый горб, делавший крупного от природы Ивана пуще того медведеобразным. Даже при своём искривлённом позвоночнике он был одного роста со мной. Не исключено, болезнь положила отпечаток и на лицо. Хмурое, тёмное от загара, с двумя глубокими складками «собачьей старости», сверкающими, навывкате, негроидными глазами и приплюснутым носом с широкими крыльями вывернутых ноздрей, оно было слеплено будто с какого-то африканского божка и подправлено русским резцом, изваявшим тонкие, разлетевшиеся соломенным нимбом стрелы огненно-рыжих волос. Портрет довершали плотоядные губы сластолюбца. Когда Иван приходил в солдатской ушанке и ватном бушлате лагерного пошиба, он и впрямь был похож на гнома-свечегаса, переодетого по моде времени (или, скорее, места) в костюм, что не назван до сей поры каким-либо одним ёмким словом, хотя в «Истории костюма», буде переписываемой новыми поколениями, заслуживает составить эпоху. В советские времена так одевали солдат и заключённых. Не самый худший наряд для русской зимы, будь моя воля, я бы назвал его просто и поэтично в одно время – «Северная звезда».

И вот наш горбун-свечегас приходит в костюме «северная звезда», подпоясанный широким ремнём с надраенной звездной бляхой, на ногах – валенки с непременными галошами, – он приходит и снимает шапку, и тут происходит чудо превращения – мрачноватый языческий бог становится

весёлым рыжим клоуном, будто с целью насмешить публику напялившим на себя эту несуразную одежонку, возможно, символизирующую нечто глубинное, укрытое в толще народной жизни. Теперь, по прошествии лет, когда оно, извергнутое, всплыло на поверхность, уже нетрудно указать на него прямо, назвать, и слово это будет – *игло*. Рыжий клоун играл «под иглом». Он устанавливал свои пионерские инструменты, распоясавшись и только сбросив сначала валенки, садился на стул, дооборудованный приподнятым на несколько сантиметров сиденьем, и начинал «разогреваться».

У него были руки жонглёра и ухо колдуна, ловящего какие-то вселенские ритмы и переводящего их на язык человеческих эмоций. Пока «младшие гномы» раздвигали кресла, освобождая место для танцев, и налаживали осветительную вертушку-витраж, Ваня успевал уже по-настоящему разогреться (стояли морозы, и в зале было прохладно). Он оставался в чём-то домотканом, светлом, а горка ватной одежды лежала на полу позади «рабочего места». И теперь это был не солдат-заключённый, а свободно парящий белый ангел в оранжевом светящемся нимбе. Мы брали тему и начинали импровизировать. Мы поняли очень скоро, что столкнулись с чем-то необыкновенным, поэтому следили за нашим неведомо откуда взявшимся ударником с нарастающим удивлением. Мы повидали немало виртуозов, начиная от незабвенного Лаци Олаха до Кирка Доула, игравшего с Эллингтоном во время его московских гастролей 57-го года, но то

что мы наблюдали и слышали сейчас не укладывалось в рамки привычно ожидаемого. Для самоучек не существует правил и проторённых путей, которыми идя, творец достигает цели быстро и без лишних затрат энергии. Но сама цель при этом, обозначенная какой-либо из вершин, завоёванных другими, редко бывает превзойдена. Ученик остаётся, как правило, в рамках, установленных учителем, его творческая энергия как бы иссякает в преодолении трудностей, не свойственных его творческой манере, и всё каменеет, загустевая в привычке. Бывают, конечно, исключения, однако правило от них не становится менее убедительным. Самоучка же всегда имеет шанс прыгнуть выше, чем его выдающиеся предшественники. Таковы великие реформаторы литературы – Джойс, Пруст, Кафка. Беру примеры для меня близкие, ибо с музыкой мой роман сложился не очень счастливо.

Как это ни покажется странным, причиной «охлаждения» стала та встреча. И всё что за ней последовало. События подвержены случаю, бабочки, расплодившиеся в Гренландии, могут стать причиной нового оледенения планеты.

Само собой разумеется, наши взоры были устремлены на Белоснежку. Музыка музыкой, но есть ведь ещё и жизнь. А рядом со Свечегасом, рожим клоуном и гениальным барабанщиком, будто вышедшим из африканских дебрей со своим примитивным инструментом, пробуждающим подспудные ритмы самой жизни, – рядом с ним стояла та, что названа была «невестой», хотя принять это положение всерьёз нам

было трудно, возможно, мешали предубеждения, отсортировывающие обличья в соответствии с негодными эталонами.

Если верно утверждение, что личность – это пустота, если стоя вблизи и даже не поговорив, не услышав голоса, не встретившись глазами с человеком, пересекшим твой путь, вдруг ощутишь себя висящим над пропастью или заглядывающим в бездну, то следует спросить себя: почему? Откуда явилось это чувство? Личность опасна, и это не подлежит оспариванию, потому что опасно всё, что отклоняет тебя от цели, выводит из равновесия, сбивает с толку. А на такое способна только та «пустота», что зовётся личностью. Её сказочный облик – русалка, утягивающая на дно.

Примерно так, будущей русалочьей жертвой я и сказался самому себе, когда «невеста» протянула мне руку и представилась: Белоснежка. (Я всё-таки склонен до поры утаивать её имя.) За внешностью всегда ведь следует голос, его тембр, манера говорить. И здесь меня не постигло разочарование – голос был так хорош и богат оттенками, что его немедленно хотелось услышать в сопровождении музыки, в песне, – глубокое грудное контральто, я подумал, не уступающее тому, что принадлежит знаменитой музе джазистов Эллочке Фицджеральд. После того как мы обменялись несколькими незначащими фразами, я сказал ей: спойте что-нибудь, ведь вы наверняка поёте. Да, сказала она, пою. А что мы споём? «Грустного бэби», сказал я.

Она не знала слов. Свечегас ещё оставался простым кино-

механиком, и вот тогда мы попросили его достать эту ленту. В СССР её крутили под названием «Судьба солдата в Америке». Мы не знали, что заглядывая в американские двадцатые, прикасаемся к собственному концу века: гангстеры, стрельба на улицах, пистолет-пулемёт системы Томпсона – «Томми» – предтеча «Калашникова» – как один из главных героев действия. А судьбы солдат одинаковы – всегда и везде.

Но было в этом фильме бесспорное очарование, которого начисто лишены боевики-эпигоны. Рука мастера, безукоризненный вкус, никакой героизации бандитизма, а только любовь и грусть правят действие, скрещая несчастные судьбы. И, конечно, музыка.

Иван поехал в Госфильмофонд, или куда он там ездил, не знаю точно, и привёз картину, и вся студенческая братия в доме отдыха «Ровки» зимой пятьдесят пятого была готова носить на руках рыжего клоуна-Свечегаса, который стал уже к тому времени, пожалуй что, главным действующим лицом нашего музыкального трио, а Белоснежка выступала со своим коронным номером – «Грустным бэби». За эти десять дней мы отрепетировали ещё несколько песенок, до того стоявших в нашем репертуаре «без голоса». Девушка явила недюженные способности и понимание духа и ритма джаза. Я не согласен с утверждением некоторых уважаемых мною музыкантов, что человеческий голос может испортить инструментальную пьесу. Он, скорее, переводит замысел на язык более доступный аудитории, если толь-

ко она не состоит из высоколобых теоретиков.

Сначала, надо сказать, не клеилось. Белоснежка робела, «не отпускала звук», не давала ему воспарить свободно, и тогдашнее её ученическое пение скорее напоминало речитатив, какой часто можно услышать на нашей эстраде. Такое случается по двум причинам: либо голоса нет, либо он просто не поставлен. Мы подозревали второе – и не ошиблись. Евгений в отличие от меня продолжал своё музыкальное образование, его консерваторская эрудиция простиралась и в сферу сольного пения. Что-то он там объяснял ей, совсем недолго, и вдруг она по-настоящему запела, и оказалось, что её певческий голос – драматическое меццо-сопрано – ещё сильнее, чем это можно было предположить по первому впечатлению.

Потом Ваня привёз ещё один судьбоносный фильм – классическую мелодраму под названием «Мост Ватерлоо», и это стало, я думаю, катализатором дальнейших событий. Тем и хороша мелодрама – она сильнее, чем какой-либо иной жанр, может влиять на души, спаянные в этом коллективном действе – зрелище. Вероятно, это единственный в своём роде случай, когда толпа, захваченная глубоким переживанием, способна оставаться бездейственной. Тем не менее, подвешенные в «недеянии» души претерпевают нечто вроде поляризации: очищенные катарсисом, они растворяются в желании быть лучше, любить и быть любимыми, они поворачиваются навстречу друг другу – и тут может произойти са-

мое неожиданное.

Что и случилось. После утреннего сеанса «гномы» и прочие студийзисы весь день ходили печальными, и вечером, против обыкновения, Ваня прокрутил ленту ещё раз – «по просьбе зрителей», и теперь «эффект поляризации» стал очевиден – те, кто ещё накануне «гулял сам по себе», сбились в парочки и смотрели больше теперь друг на друга, чем на экран.

А мы, то есть я и друг мой Евгений Щукин, талант и будущая знаменитость, восходящая звезда Московской консерватории, – мы смотрели на Белоснежку (или как там её звали), и каждый примеривался к «захвату» и прятал за пазухой кинжал, которым намеревался поразить соперников. Мелодрамы – хорошие – отличаются ещё тем, что становятся образцами для подражания. Как и хорошая, впрочем, литература, – беда лишь в том, что «образцы» эти, в сущности вневременные, часто не укладываются в прокрустово ложе обыденной морали.

Соперников было два: каким бы ни казался странным союз Белоснежки и Свечегаса, и как ни трудно было поверить в то, что под маской «Невесты» не кроется тайна, – всё равно, сбрасывать со счетов гениального (как уже стало ясно) горбуна, по меньшей мере, не стоит. Что до нашей дружбы с Евгением, то могу сказать – вся мировая литература, во всех её видах и жанрах, – она всегда лжёт, если, касаясь так называемой мужской дружбы, уверяет в неколебимости её под

натиском любовной лихорадки. К счастью, мелодрама питается из других источников.

Дружеские чувства способны угаснуть так же быстро и бесповоротно, как это свойственно чувствам любовным. Сначала уходит искренность, каждый прячет в собственной раковине сокровенное, оставляя снаружи только «усики», с их помощью отныне будет отслеживаться перемещение «друга» в пространстве действий: не столкнуться, не попасться на «выяснении отношений», не подставить спину под неожиданный удар. Будет копиться счёт оскорблений, предательств и обид. Ничего странного – чем теснее общение и чем дольше оно длится, тем больше груз, влекущий на растяжение, на разрыв связующей нити.

Я пригласил её покататься на лыжах. Иван, как человек исконно деревенский, не мог понять цели и смысла таких прогулок и поэтому в игре не участвовал. И даже не был спрошен, ввиду очевидности отказа. Напротив, Евгений отверг саму идею, сказав, что это «неудобно». Неудобным, по его словам, было «уводить невесту из-под венца», хотя бы и жених был её недостойн. Изрекая столь явные банальности, Женя сморкался и покашливал – он был простужен, и о каких лыжах тут можно было ещё хлопотать. С моей стороны не было, как говорят, серьёзных намерений, мной двигало одно любопытство и ещё, возможно, желание вблизи и без свидетелей рассмотреть человека, что казался явленным из мира грёз или сновидений, задолго до встре-

чи изводивших образом чего-то неизреченного, мучительно-сладкого, заставляющего сжиматься сердце при пробуждении и снова и снова возвращаться памятью к незнакомой возлюбленной, посетившей во сне. Незнакомая возлюбленная, говорит Новалис, обладает, бесспорно, магическим очарованием. Но, добавляет он тут же, стремление к неизвестному исключительно опасно и пагубно. Что ж, классики всегда правы.

Мы вышли рано и двинулись на восток. В морозном тумане, окутавшем горизонт, солнечный диск был очерчен резко и, поднимаясь, терял свой багровый оттенок, размывался по краю, будто разъедаемый кислотной жижой, пропитывался воздухом, сжимался, уходил в высоту и наконец вовсе растворился в тумане, выставив опознавательным знаком светлый блик, дрейфующий к пределу зимнего солнцестояния. Я шёл впереди, мы перебрасывались короткими замечаниями – как хорош день (с чего же ещё начать как не с погоды), какое, однако, редкое сочетание – мороз и солнце (на язык просились хрестоматийные стихотворные строчки, но я вовремя удержался), как разумно это устроено – смена времён года (я насторожился – разумно? – конечно, сказала она, всё действительное разумно, всё разумное – действительно; мы рассмеялись). Запашок гегельянства слегка замутил атмосферу приподнятости, вернув меня к недавнему экзамену по марксистской философии. Но и побудил к «деловому» вопросу. Внезапно перед нами выступил из тумана лес.

Его хмурое зимнее величие будто поставило перед выбором: теперь или никогда. Мне показалось, она готова к чему-то неизбежно-привычному, к некой чисто мужской агрессии, может быть, даже к насилию, попытке его, – но я всего лишь попросил её рассказать о себе.

Мы развели костёр. Бутерброды, чай из термоса (я всегда вожу его с собой), весёлый огонь согрели нас, размячили перегородку натянутости, ставшую между нами в тот день и час, когда я сделал этот неожиданный для самого себя шаг по пути сближения. И всего-то навсего: а не пройтись ли нам на лыжах? – я бросил будто бы невзначай, но по тому, как она вздрогнула, напряглась, понял, что существует некая граница, отделяющая страну свободного выбора от зоны тайных обязательств, представлений о чести и обыкновенных тюремных заповор.

Мы сидели рядом на поваленном дереве. У неё замёрзла спина, я воспользовался предлогом, чтобы привлечь её к себе, укрыв полый пуховика-«аляски». Нет, она не имела ничего против. На войне как на войне Лыжные переходы тем хороши – испытанные вместе трудности создают нечто похожее на общность постели. О постелях наше комсомольское племя знало разве что понаслышке. Теоретически мы, конечно, были подкованы (очаровательный советизм – я не мог удержаться), но что до практики, всё, как правило, ограничивалось случайными связями, приметы которых – кратковременность и узость «оперативного пространства». Наши

«жилищные условия» не были приспособлены для свободной любви, и наиболее смелые вестницы грядущей сексуальной революции удовлетворялись парками, пляжами, чердаками, лестничными клетками, подвалами и даже лекционными аудиториями «в свободное от работы время». Из революций мы признавали одну социалистическую и все трудности воспринимали как временные, коим суждено рассеяться в недалёкой радужной перспективе. Рано или поздно социализм должен был завоевать мир. А пока мы росли и мужали в рядах комсомола, и не было большего пугала, чем «моральное разложение», паче чаяния заведут на тебя «персональное дело», обвинив по всей строгости в этом самом нежданном негаданом «разложении» и влепят «строгий выговор с занесением в учётную карточку». По правде сказать, мы этого очень боялись. Сплясав однажды «рок-энд-ролл» на студенческом вечере, ты уже попадал на заметку. А если девица «понесла», то месть её могла быть скоро и неотвратима – достаточно было «написать». Тебя исключали из комсомола и выгоняли из института, и только «законный брак» мог предотвратить катастрофу.

Странным образом такое положение дел вело к тому, что мы влюблялись и мучились платонически, если не вкладывать в это слово истинного смысла, который, впрочем, был скрыт от нас как и многие другие смыслы мировой культуры. Мы росли идеалистами и, возможно, лишь физическое уродство, вроде горба, или судьба, изломанная устройством

социалистического миропорядка, заставляли глаза открыться, и тогда в них отражалась горгона Медуза.

Итак, я поддерживал огонь, Белоснежка рассказывала. Она родилась и выросла в деревне, той самой, что мы видели из окон барского дома внизу за рекой (она сказала: «вы видите»). Её отец был школьным учителем, мать работала счетоводом в колхозе. Уйдя на фронт в октябре сорок первого, отец не прислал ни одного письма, «пропал без вести». (Что-то в том, как она произнесла эту формулу, заставило меня насторожиться.) Мать после войны стала председателем колхоза. В сорок девятом её арестовали за шпионаж, дали «десятку» и отправили на север. В этом месте её рассказа (я передаю его коротко, чтобы в деталях для меня, прямо сказать, страшноватых, – чтобы в них не потерялся, не остыл драматический накал) – в этом месте я не мог удержаться от восклицания, хотя до того ни разу её не перебил. «Шпионажа?!» Помилуй бог, какого шпионажа? Она усмехнулась. Очень просто. Отец оказался жив. Он был в плену, потом ему удалось перебраться на запад, каким-то чудом он избежал репатриации. Незадолго до своего ареста мать сказала ей, что отец в Америке и зовёт их приехать. Как были получены эти сведения, она не упомянула. Можно было только догадываться, что так называемый шпионаж и это чудо отцова внезапного воскрешения имели прямую связь.

Костёр догорал. Сказать, что я был потрясён – значит не сказать ничего. Потрясение – категория скорей эстетиче-

ская, это катарсис, очищение, призыв к возвышенному.

Я был раздавлен. Однажды на моих глазах грузовик сбил человека – тогда я испытал нечто похожее. Я прикоснулся к жизни на грани смерти и прямо-таки почувствовал кожей ледяной холод, повеявший из иных миров. Мой собственный благополучный мир оказался под угрозой, в тени чего-то большого и тёмного и грозящего гибелью. Как человек в попытке защититься вытягивает перед собой руки, так я едва ли не инстинктивно отодвинулся от девушки, себя на этом поймал и чтобы затушевать неблагоприятное впечатление, поднялся якобы затоптать костёр. Нет, она не заметила, я уверен, потому что была там, в «севлаге», рядом с несчастной матерью, чья «статья» даже не подпала под амнистию 53-го года.

Пришло время спросить, наконец, об «отношениях» с Иваном. «Правда ли?...» Она засмеялась. «Правда, но не вся». Значит – ложь?

Я не получил тогда прямого ответа. Урок же запомнился: никогда не спрашивай об «отношениях», люди, как правило, и сами не понимают, каковы их отношения с друзьями и близкими. Чувства-антиподы прогуливаются в душах под руку, обмениваясь любезностями, а степень близости не измеряется общей постелью. Но в молодости это отнюдь не очевидно.

Итак, об отношениях. Александра Дерюгина, о существовании которой я до того не подозревал, явилась теперь

на свет в сопровождении больного сына Ванечки и подружки-председательши, невзначай оказавшейся «агентом иностранных разведок». Русская шпиономания возрастает в народной толще и туда же и возвращается (кто ж не помнит это знаменитое «расстрелять как бешеных собак»?), и если вам сказали – *шпион*, то не поверить в это стоит больших усилий. И всё же дети, если государство не преследует их как «членов семей изменников родины», не попадают в полосу народного гнева. В сущности, правильно сказал однажды наш коммунистический вождь: сын за отца не отвечает. Я думаю, так же как и отец за сына, хотя свойство коммутативности почему-то всегда почиталось советскими законами, а точнее сказать – беззаконием.

Александра Селивёрстовна Дерюгина приютила осиротевшую Белоснежку. К своим пятнадцати годам та испила чашу столь горького жизненного опыта, что иногда казалась самой себе девяностолетней старухой. Помню, у того лесного костра она сказала с горькой усмешкой: *оборотень*. Она похожа на оборотня – внешность богини и душа дьявола. Впрочем, «дьявола» она тут же посоветовала забыть, а лучше подставить вместо него «бабу Ягу» или «ведьму», потому как для русского уха («менталитета») сказали бы мы теперь) эти сказочные персонажи куда как ближе. Костёр догорал, под кронами елей сгущались сумерки. Я взглянул на неё и впрямь поразился метаморфозе: восхитительной правильности черты лица стали окаменевшей маской, под глазами

легла тень, губы вытянулись в полоску. Это было всего лишь неудачное освещение, отблеск костра, но в тот момент я готов был поверить в обратное. Когда мы двинулись в обратный путь, «ведьма» снова стала хорошенькой, повеселела и тем, возможно, подтвердила, что обворожительные ведьмы не такая уж редкость.

Моё чувство, до того набравшее силу со скоростью крылатой ракеты, претерпело некоторый откат, и признание, было готовое сорваться с губ, завернулось кусочком льда, который никак не хотел растаять. Мы шли молча. Только перед тем как миновать деревню и подняться к барскому дому, я спросил вдогонку увядшей, будто схваченной морозом беседе, а скорей монологу, излившемуся в ответ на просьбу рассказать о себе, – я спросил: что ж было дальше? Ведь на часах стоял февраль пятьдесят пятого, а мы покинули наше пристанище с потухшим костром и вышли из леса в декабре сорок девятого. Я хорошо помнил его, тот декабрь, – двадцать первого, в день рождения Вождя, меня принимали в комсомол.

Мы остановились в начале деревенской улицы. Что дальше? Очень просто. В пятьдесят втором окончила школу и поступила в московский «первый мед». В графе о родителях написала: отец погиб на фронте, мать умерла. На втором курсе, год назад, обман открылся, её отчислили. Теперь она служила (именно так – «служила») фельдшером в деревенской амбулатории. «Хочешь посмотреть?» Разумеется, я хо-

тел. Не снимая лыж, мы пошли по обочине накатанного тракта к большому бревенчатому дому о двух этажах, с башенками и петухами на них. По мере приближения этот истинный шедевр деревенского зодчества поворачивался к нам совсем ещё не старым фасадом, словно бровями украшенным необыкновенной красоты оконными наличниками. Бывший трактир, сказала Белоснежка. Теперь тут помещались клуб и амбулатория.

Мы вошли. Я люблю запах лекарств – меня часто и много лечили в детстве. Я ещё ничего не знал тогда о знаменитом пирожном, прячущем в себе мир, о «мадленке» Пруста, но едва мы перешагнули порог небольшой комнаты окнами в заснеженный сад, и она обступила нас белой больничной мебелью и заставила вдохнуть запах валерианы, я вдруг ощутил себя мальчиком, входящим в кабинет врача, чтобы подвергнуться не очень приятной, однако необходимой процедуре.

Ввиду различия психологий мы зачастую неверно толкуем поведение женщин, подкладывая в основу их словам и поступкам свои собственные намерения, то есть делая именно то, что Фрейд называет (за вычетом некоторого телеологического оттенка) «методом идентификации и проекций». Если дама приглашает «на чашку чая», мы готовимся не меньше как к ночи любви, и удивлению, а то и возмущению нашему нет предела, когда нам прямо или косвенно указывают на дверь. Но бывает, что робость или недомогание стают

на пути неминуемого успеха, – это понимаешь много позже. Есть ещё своего рода страх – не оправдать надежд, которые, по всему, на тебя возлагает женщина, независимо от того что можно предположить о её истинных планах – брак, любовь или миг забытья.

Перед самым закатом солнце выпуталось из молочной тины и ударило в окна недолгой ослепительной вспышкой, будто раздвинув стены и окрасив их в тона чистой меди. Мы пили чай, сидя за маленьким столиком для приёмов, друг против друга, разделённые всего лишь полётом протянутой руки. Но наша история только начиналась, и в руках ещё не скопилось достаточно магнетизма, чтобы, взлетев, они могли одолеть этот воздушный барьер и соединиться в поэзии. Ещё не пришло время разобраться мне в моих чувствах, и разобраться в мире, который нас окружал. Впервые в жизни я столкнулся – в самом себе – с этим странным переживанием: влечение и страх соединились в одно, навалившись на плечи пудовой гирей. Взаимоуничтожаясь, они текли через невидимую капельницу, прямоком попадая в кровь ядовитым раствором. Пойти в поводу у страха – почти всегда означает совершить преступление. Мне был знаком до того чистый, первозданный страх – заскорузлый чугреевский палец, ползущий по строкам «кондуита» с делами и датами моего «участия», последний приказ главаря, его нешуточная угроза, маска ужаса на отцовском лице: «Мой сын...?» Клятва: покончить, «завязать». Исподволь растущее, вскипающее

решение – *убить*. Тот, кто когда-либо всерьёз думал о том, чтобы убить человека, многое чего знает о жизни. Но это как раз то самое знание, что не ведёт к свету, а умножает печаль. Мне не пришлось убивать Чугрея, – в тот раз, когда я помог ему проникнуть в заповедную территорию «Мосторга», была поставлена точка – Чугрея схватили сторожа с собаками. Не исключено, их предупредили. Помню, что-то я пытался выведать у отца – тот молчал и продолжал молчать до конца жизни.

Итак, в двадцать с небольшим я мог заявить, что знаю о жизни много такого, о чём средний советский юноша из благополучной семьи не может даже помыслить: я знал, к чему приводит неосторожность, легкомыслие вкупе с местом и временем твоего рождения, условиями жизни, средой – всем, что оказываясь игрой случая, складывает судьбу.

Мы пили чай, наслаждаясь теплом кем-то натопленной печи и светом закатного солнца, осыпающего с яблонь в законном саду снежную блестящую мишуру.

Мы не молчали. На следующий день нам предстояло разъехаться, я спросил часто ли она бывает в Москве, четыре часа поездом – немалый путь. Спрашивая, я, кажется, был уверен, что непременно захочу её увидеть, встретиться. Мы обменялись почтовыми адресами, она записала мой телефон. Внутренне обратившись в бегство у лесного костра, прямо-таки кожей ощутив надвинувшуюся опасность, я теперь возвращался, ступая на цыпочках, к источнику и при-

чине своего страха, чтобы лучше рассмотреть и разобраться в нём, потому что порыв к бегству требовал объяснения. К тому же меня действительно влекло к девушке, и если бы я нашёл оправдание охватившему меня странному чувству, то наверно смог бы твёрдо сказать «да». Или – «нет». Теперь же я говорил «да», в то время как чёрненькое трусливое «нет» издевательски скалило зубки, устроившись между нами на краешке стола, у стены, под видом чернильницы-непроливайки. Я хотел стать писателем – советским писателем, чтобы отразить Великую Эпоху Строительства Коммунизма, борьбу нового со старым, великие свершения советского народа, его подвиг в Великой Отечественной войне, наконец, схватку двух миров – загнивающего капитализма и молодого стремительного социализма, уверенно шагнувшего по планете. Но самым заветным, своего рода ослепительным миражом, вставшим на горизонте моих литературных устремлений, была мечта написать романизированные биографии двух Великих Вождей – Ленина и Сталина, – что-либо подобное знаменитым биографическим романам Стефана Цвейга, которыми зачитывались мы все. Я не просто мечтал, я уже предпринял несколько попыток – я садился за письменный стол с мыслью «а хорошо бы что-нибудь написать», но других мыслей, кроме этой, принципиальной, родить не мог. Разумеется, я хотел стать членом союза советских писателей, стать знаменитым, не менее знаменитым, чем Константин Федин или Леонид Леонов. Мне

не нравились их романы, но я относил это обстоятельство на счёт своей недостаточной ещё литературной образованности, отсутствия, возможно, вкуса, или некоего чутья, необходимого для понимания сложностей метода социалистического реализма. Я ещё не знал, что советский писатель – самый несчастный писатель в мире. Я не стал советским писателем – меня охранила судьба. Она положила мне стать учёным. Но и на этом поприще не смогла уберечь от горьких разочарований.

Вот почему злосчастная чернильница сбивала полёт, как ни странно, теперь будто от неё исходила опасность, она разрасталась чёрным уродливым телом, заполнявшим собой пространство комнаты, поглощала свет, она целилась мне в переносицу своей воронкой, на дне которой вместо сияющих коммунистических вершин проступали лагерные вышки, переплетения колючей проволоки, бараки, – память преподносила картинку из фильмов об Освенциме. Дополняя услышанным некогда от вора в законе Николая Чугреева.

В какой-то момент мне удалось стряхнуть наваждение, и то лишь потому, что я уловил нечто ещё более странное: Белоснежка сказала, что хочет уехать к отцу в Америку и только томящаяся в застенке мать удерживает её от решительных действий.

Решительных действий? – о чём это она? Разве она не знает, что всякие «решительные действия» так же решительно пресекаются государством? И неужели не известно ей,

что пересечь границу отечества простой смертный может у нас лишь на воздушном шаре, да и то только если стартует на Дальнем Востоке или Крайнем Севере, или, на худой конец, где-нибудь в субтропической Грузии, понадеявшись на северо-восточный пассат и расхлябанность пограничников. Но ведь Турция – это далеко ещё не Америка. Следует немедленная депортация – и дальше, дальше, дальше... (Что говорить, мы были наслышаны о наших порядках, но по большей части отнюдь не считали их неправильными. Теперь я точно знал: в образе сказочной красавицы-Белоснежки передо мной, через стол, восседала злоумышленница, «чуждый элемент», несравненно более чуждый нашему строю, чем я сам – «стиляга», «штатник», мечтающий однажды воспеть «советского человека»)

– Чем я могу тебе помочь?

Боже мой, что за вопрос! Вопрос-ловушка! Он сорвался с моих губ совершенно произвольно, вероятно, став результатом, итогом какой-то бессознательной «работы чести», если можно вообще предположить такое понятие. Когда мы хотим быть честными, порядочными, добрыми – мы всего лишь намерения, которым редко суждено осуществиться. И напротив, чёртик из табакерки, бросающий тебя на хрупкий лёд спасти тонущего ребёнка – это и есть «работа – чести, добра. Она совершается независимо от воли, возможно, исток её – в генетической памяти.

Задав столь неосторожный вопрос, едва ли не прикусив

язык на последнем слове, я вдруг ощутил, как наполняюсь действительной решимостью, и как она приподнимает меня над суетными помыслами о писательстве, о славе, о богатстве, наконец, сопутствующем, как было известно, признанию таланта, идущего об руку с коммунистической моралью. Накренился мир, в котором я хотел утвердиться. Из-под ног уходила почва. Но было уже не страшно.

– Я люблю тебя.

Чёрт побери! Я ли это? Однажды я сказал девочке, что люблю её, но это было так давно, что успело забыться. Теперь же я будто вернулся в тот десятилетней давности жаркий день, в беседку, примостившуюся на склоне холма, сбегаящем от большого старинного дома с колоннами к реке, к заливному лугу, окаймлённому гребёнчатой полоской леса. Девочку привела в наш отряд пионервожатая и сказала: примите её, пожалуйста, она тоже хочет играть. Разумеется, то была военная игра, как же иначе, и новенькую определили санитаркой. В первом же бою меня ранили, я лежал в санчасти – беседке, раненых перевязывали и снова отправляли в бой, потом случилось так, что мы остались вдвоём, и тогда я сказал ей: *люблю*.

Стоп! Её звали... И этот дом с колоннами! Тогда ещё не было пристройки. И не было «гномов». Она приходила одна и уходила одна. Только у всячего мостика через речку её поджидал рыжий мальчишка, и дальше они шли вдвоём, исчезая среди домов раскинувшейся на пригорке деревни.

Лето сорок пятого года. Июль? Август? Помню точно: в пионерском лагере не было ни труб, ни барабанов, даже радио не было. Царила жаркая звенящая тишина, иногда разрываема только треском автоматных очередей – это было моё изобретение, трещотка.

Как же я мог забыть! У моей возлюбленной были светлые вьющиеся волосы и голубые глаза. Когда она перевязывала мою простреленную голову, её дыхание смешивалось с моим, мы вдыхали друг друга с наслаждением невинности, ощутившей аромат греха. Её прикосновения наполняли чувством полёта – оно было знакомо, вынесено из навязчивых снов-парений, не иначе как говорящих о пробуждении чувственности. Она заявила тогда, что черепно-мозговая травма, причинённая проникающим пулевым ранением, не затронула жизненно-важных центров, но тем не менее она настаивает на отправке меня в тыловой госпиталь. Таковой располагался в полуразрушенном флигеле барского дома; она сказала, что проводит меня, я был очень слаб, и мне пришлось опереться на её руку. Мы двинулись вверх по склону холма, я с трудом переставлял ноги, едва не падая, таким образом, что её волосы касались моей щеки. Ради этих мимолётных прикосновений я вынужден был таить свой внезапно раскрывшийся талант: я чувствовал, что могу по-настоящему взлететь. Но в это время (такое часто случается на взлёте) из засады в кустах выступил затаившийся «власовец» и расстрелял нас в упор. Как подкошенные мы упали

в траву, я потерял её руку. Прежде чем подняться и дать отпор «изменнику Родины», следовало сосчитать до ста, такковы были правила игры. Я честно принялся считать и... задремал. Возможно, сказалось напряжение боя, а скорей, пережитое волнение любви, отнявшее у неокрепшего духа слишком много сил. Когда же открыл глаза и приподнялся на локтях, чтоб оглядеться, не обнаружил поблизости ничего кроме островка примятой травы – покинутого ложа моей возлюбленной. Я перевёл глаза вдаль и увидел как она уходит луговой тропинкой в сопровождении «Рыжего».

– Ты узнала меня?

– Конечно. Тебя нельзя не узнать.

– Почему же ты не сказала сразу?

– Не поверила своим глазам.

– Ты не веришь во встречи с судьбой?

– Судьба чаще разводит.

– Помнишь тот последний бой? Ты меня перевязывала.

А потом я сказал...

– И повторил минуту назад. Это правда? И ты готов мне помочь?

– Да.

– Смотри как получается: ты говоришь мне... и уезжаешь.

И проходят годы.

– Нет. Судьба отвернётся, если...

Я сказал: судьба отвернётся, если я уеду и больше не захочу встретиться, написать. Когда мы были в эвакуации в по-

волжской сельской глуши, меня ударил копытом жеребенок, оставив на всю жизнь характерную вмятину на щеке под левым глазом. По ней она меня и узнала. Конечно же, сама она хотела быть узнанной без напоминаний. Быть узнанным значит удостовериться в том, что твоё отражение в другом живо, не подверглось уничтожению временем, не рассеялось. Это как бы подтверждение того, что и сам ты ещё в достаточной мере жив, потому что быть живым в некотором смысле значит отражаться в других головах. До тех пор пока нас помнят – мы живы. Я сказал ей (ничуть не кривя душой), что та детская любовь жила во мне все эти годы. Она со смехом возразила: но ведь я изменил ей, той девочке-санитарке, влюбившись теперь (если сам себя не обманываю) в эту деревенскую «простушку» с сомнительной биографией и ещё более сомнительными планами на будущее. Сомнение, сказал я, наиболее полезная работа духа, мы питаемся плодами сомнений, когда же их нет, душа подобна сухой смоковнице (однако я почитывал Библию, доставшуюся в наследство). Сказав это, я дал пищу вялому червячку сомнения, что прятался на дне колодца, если можно представить себе так сосуд, где перемешиваются жизнью добро и зло. Тяжёлые фракции оседают, образуя тёмный слой чего-то забытого, или отвергнутого сознанием по причине несовместимости с твоим дневным «я» или притекшего из животных глубин нашей общей загадочной предыстории. Мой едва ли не беспричинный страх, испытанный у лесного костра, те-

перь, когда я преодолел его и даже пошёл вперёд, стал обретать форму большого вопросительного знака. Я спрашивал себя: почему? Что было причиной того внезапного испуга? Как будто ступил на тонкий лёд. Надо ли идти дальше? А может быть это и есть та заповедная страна, где располагается моя «башня», сквозь бойницы которой я смогу наблюдать нечто такое, что станет темой моих будущих произведений? Ведь до сих пор, сколько ни пытался я придумать тему, сюжет, характер, написать хотя бы один короткий рассказ по канонам социалистического реализма, – садясь за письменный стол с благородной целью, вставал из-за него только с раздражением и усталостью. Пожалуй, оставалась ещё надежда на будущее целенаправленное «изучение жизни», «поиски реальных героев», можно было поехать на целину, на «стройку коммунизма» – все дороги были открыты. Трифонов поехал в Среднюю Азию и привёз «Утоление жажды» и получил Сталинскую премию – это был потрясающий пример! Успех лежал рядом – стоило только протянуть руку. Но – куда? В каком направлении?

Самое точное слово, каким бы можно было описать мои чувства в тот последний день студенческих каникул зимой пятьдесят пятого года, – смятение. Я был повергнут в смятение внезапной влюблённостью и одновременно той скрытой опасностью, каковую она в себе несла. Я до такой степени не владел собой, что даже не спросил ничего о «женихе» – нашем общем любимце Свечегасе. Много теперь, ко-

нечно, для меня открылось. До полного выяснения обстоятельств я отвёл ему роль старшего брата – всегда ведь на пути к истине мы столбим промежуточные площадки и пытаемся на них утвердиться. Даже если не очень веришь в их устойчивость, можно оправдываться искренностью своего заблуждения. Часто и лгать не приходится – сам начинаешь верить.

Вечером состоялся прощальный бал. Иван откуда-то извлёк сине-красные клоунские костюмы, оставшиеся, сказал он, от «новогоднего заезда», учинившего маскарад. Мы натянули на себя яркие балахоны с воротниками-«жабо», островерхие колпаки и принялись за работу. Мы проиграли весь репертуар от начала до конца, потом ещё и ещё раз, пока мне не надоело смотреть как суетится вокруг Белоснежки армия «гномов». Наша певица была одета по последней моде, впрочем как и все дамы на том балу, – непременно атрибутами были туфли-шпильки и юбка на кринолине. Петь она отказалась, сославшись на лёгкую простуду, ставшую следствием дневного лыжного перехода. Она и впрямь немного охрипла, и без того глубокое её меццо-сопрано обрело басовитые нотки, на наш взгляд даже придающие певческого шарма; но петь она отказалась. Я просто встал из-за рояля и спустился с эстрады, и отобрал девушку посреди танца у одного из «гномов», и тут оборвалась музыка.

Всё то время пока Иван «переводил рельсы» на радиолу и перебирал пластинки в поисках какого-нибудь «хита», я не выпускал её из объятий. Она не пыталась высвободиться.

Мы стояли посреди зала, окружённые тремя десятками таких же замерших в танце пар, ждущих новой музыкальной волны, которая понесёт дальше, раскачивая в ритме четыре четверти. Немая сцена не может длиться так долго, как нам иногда хотелось бы – она требует разрешения. Каким оно будет – это вопрос формы, артикуляции. Мы должны двинуться, чтобы увидеть, понять что-то. Понять можно только то что облечено в форму. Мы не описываем то, что видим. Мы пишем – чтобы увидеть. (Это не я придумал.) Мы рисуем – чтобы увидеть. Зародившуюся влюблённость мы облакаем в форму первого поцелуя.

Вновь зазвучала музыка. Конечно, это был вальс-бостон «Горящие свечи». В полумраке вокруг нас заскользили пары, а мы продолжали стоять обнявшись, её лицо вблизи показалось мне искажённым страдальческой гримасой. Что ж, на то были причины. Я приник к её губам и получил в ответ нечто прохладное, не окрашенное ни малейшим волнением, – спокойный поцелуй благодарности.

Смысл наших действий нам не дано понять до того как мы совершим их. Недаром сказано – кто это, глядящая как заря, прекрасная как луна, светлая как солнце, грозная как полки со знамёнами?

2. Наука

Мы зарегистрировались в МОМА («Московское объединение музыкальных ансамблей») и стали иногда поигрывать на студенческих вечерах. Москва веселилась напропалую. В преддверии сенсационных разоблачений и последующей «оттепели» никто из нас даже не мог предположить, как далеко заведёт тропинка, протянувшаяся к свободе. Мы просто играли, наслаждаясь мелодиями, их по-своему аранжируя, мы соревновались с Гленом Миллером (с его однофамильцем Генри я пытался соревноваться позже – на мой взгляд, безуспешно), нашим близким другом и покровителем был незабвенный Лаци Олах. Он играл в «Коктейль-Холле» на улице Горького, потом на «Шестиграннике» в парке того же имени – знаменитой в конце пятидесятых танцевальной веранде. К Лаци я и обратился с просьбой послушать гениального горбуна-барабанщика из глубинки. Тот недоверчиво на меня взглянул – «Откуда?» Я сказал. «Пусть приезжает». Толстяк Лаци был необыкновенно добр по отношению к молодым фанатикам джаза, ему доставляло удовольствие возиться с нами, посвящать в таинства политональных гармоний, наставлять. Мы ничего не знали о нём, да и не хотели знать, нашей общей страстью была одна только музыка. Это был своего рода музыкальный клуб. Мы приходили в «Коктейль-холл», брали по стаканчику «шерри-брен-

ди» и, сидя за столиком, с упоением вслушивались в импровизации солистов. Молоденький Давид Голощекин потрясал скрипичной техникой, Жора Гаранян извлекал из своего сакса поистине божественные звуки, от которых сжимало сердце и слёзы наворачивались на глаза. Лаци говорил: «У меня открытая система, приходите, играйте». Каким образом он угадал словосочетание, позже ставшее на слуху у всех, кто задумывался о судьбах страны и её несчастного, многострадального народа?

Оркестрик ютился на антресолях, там не только не мог поместиться рояль, но даже некуда было втиснуть пианино. Поэтому я ни разу не играл в «Коке», зато позже, летом, когда Лаци перебрался в дансинг, я взял реванш. Штатный пианист ушёл в отпуск, и я играл ежедневно две недели подряд. Играть в большом профессиональном оркестре – ничем не заменимая школа. Прежде всего потому, что каким-то непостижимым образом мобилизуются скрытые до поры возможности и на волне подъёма делаешь внезапные истинно творческие открытия. Когда сотни глаз устремлены в твою сторону, и сотни ушей впивают создаваемые тобой конструкции, на грани риска, иногда звучащие как откровенный диссонанс, и тебе дают полную свободу импровизации, – тут есть от чего воспламениться настоящему вдохновению. Потом выслушиваешь мнения мастеров, и в следующий раз «делаешь невозможное». «Ты делаешь невозможное, старик,» – говорит Лаци, обнимая за плечи. Такая по-

хвала много стоит.

Когда мне удавалось договориться где-нибудь о выступлении, я вызывал их телеграммой. С бору по сосенке мы собрали не бог весть какую ударную установку, и Ваня всякий раз привозил и увозил её запакованной в собственноручно сшитые брезентовые чехлы, вероятно бывшие некогда пионерской палаткой. Как он там у себя репетировал, я не знаю, но мастерства прибавлялось. Представ перед мэтром в один из таких наездов, будущая звезда оказалась, однако, поверженной в такое глубокое смущение, что даже палочки то и дело выпадали из дрожащих рук, не говоря о виденных уже мною «жонглёрских штучках», имеющих целью свидетельствовать высокий профессионализм. Показывать их Ваня даже и не пытался. Тем не менее, справившись с собой, он продемонстрировал, на мой взгляд, хороший уровень подготовки. Лаци снял свои круглые очки с толстыми выпуклыми линзами, подышал на них, протёр белоснежным добытым из кармашка блузы носовым платком, и сказал: «Неплохо». И добавил: «Для начала». Договорились о том, что при первой возможности «открытая система» Лаци Олаха примет в себя молодого таланта и начнёт «обкатывать». К тому времени обкатку уже прошёл Евгений – он становился настоящим инструменталистом: консерваторскую флейту и любимый кларнет теперь дополнил саксофон, который Лаци дал напрокат из своего арсенала. Женя (со слов его матери) репетировал с утра до ночи, «в ущерб основной учёбе». Он за-

пирался на ключ в своей комнате и не подходил к телефону. Я догадывался об истоках такой работоспособности. Наша дружба, споткнувшаяся о женщину, эволюционировала к чисто деловым отношениям: мы были нужны друг другу как партнёры по бизнесу, чем, в сущности, и была для нас тапёрская деятельность: за каждое выступление мы получали наличными, не считая отчислений, которые шли в кассу МОМА по своим каналам. Это была прибавка к нашим грошовым стипендиям. И всё же не деньги тут диктовали – брала своё ревность, разбавленная тщеславием, исполненная решимости одержать верх.

А что Белоснежка? Она приезжала на день-два, ночевала у подруг по институту, звонила, мы встречались. Иногда они приезжали вместе; надо было видеть эту прелестную пару – горбун в овчинном тулупе и валенках с галошами, и она – фея, снежная королева из страны великого сказочника. Она сказала, что хочет восстановиться в институте и что «ей обещали», но подробнее говорить отказывалась, – «как бы не сглазить». На Лубянке ей сообщили, что «дело» матери пересматривается, и, возможно, ту скоро освободят.

Выступать с нами Белоснежка не стала, сославшись на занятость, потом на простуду, потом на что-то ещё – всегда находилась причина, и вскоре мы поняли, что наше трио лишилось «голоса». Говорю – «мы», хотя надо было бы сказать о себе одном; но я осознал это позже и не хочу забежать вперёд. Роман с Белоснежкой вызревал по законам дра-

мы – в исходе пятьдесят пятого мы были на кривой подъёма, неуклонно приближаясь к кульминации-катастрофе.

Я был уже на последнем курсе, весной пятьдесят шестого предстояло распределение.

Мы ещё не говорили о браке, но родителям я дал понять, что женюсь на второй день после того как получу направление. Почему бы и нет? Я наверняка знал, что останусь в Москве. Да и где бы ещё нашлась работа для «акустика»? Надо долго рассказывать про сию экзотическую специальность, чтоб собеседник наконец понял, с чем её едят, эту самую акустику. Советские вузы отличались тем, что плодили так называемых узких специалистов, с которыми потом не знали что делать. Только прожорливые «почтовые ящики» заглатывали всех и вся – пока не подавились. Вскоре меня вызвали в «Первый отдел» и сказали, что пришёл запрос из Акустического института Академии Наук СССР. И если я дам принципиальное согласие, то «комиссия будет рассматривать мою кандидатуру». «Принципиальное согласие» немедленно было выдано, колёса закрутились, затягивая моё брэнное тело и неокрепшую душу в лязгающий, пропахший порохом советский военный механизм. Удивительно, не правда ли? «Академическая наука»... и т. д. – и вдруг – порох? Увы. И ведь вот что странно – мы все, «молодые специалисты», почитали за счастье распределиться в «почтовый ящик», в «оборонку» (более позднее словечко), это казалось таким романтичным! К тому же хорошо

оплачивалось. И если для того чтобы направить на работу тебя звали в Первый отдел – можно было не сомневаться: речь шла именно о том, о чём мечталось. Как тут не вспомнить советских классиков с их знаменитым «сбылась мечта идиота»!

Нетерпеливый читатель, тем более воспитанный на любовных романах, вероятно, уже готов отложить в сторону текст, якобы проходящий по тому же ведомству, а на деле никак не могущий оторваться от созерцания обстановки, где перемещаются герои (скорей – «действующие лица»), похоже, не очень-то и влюблённые, а больше пекущиеся о достижении – каждый – своих собственных тайных целей.

Не торопитесь. Конечно, цели... Вопрос в том, насколько они ясны каждому из участников драмы (нет, лучше будет сказать – «персонажу»), включая автора, который, как наверно уже ясно читателю, предпринял эту попытку романизировать собственную биографию, чтобы понять – что же на самом деле произошло? Кажется, это называется «романом воспитания». Достигнуть цели – значит создать некую *форму*, чтобы *испытать*. Форму для опыта. (Это не я придумал – читайте классиков.) Если у вас нет соответствующей формы для того чтобы испытать нечто, вы никогда это не испытаете, или будете пробавляться получувствами, полумыслями, полудействиями, – некой желеобразной массой, где не во что упереться, чтобы двинуться и пройти свой путь.

Шарль Фурье, мечтатель, утопист, которым нас пичкали

на лекциях по «марксистской философии», приглашал в «новый прекрасный мир»; в октябре 1917 года мы создали для того *форму* и в последующие десятилетия сполна извели, испытали, как говорят, на собственной шкуре все его «преlestи».

Но мало кому известно, что Фурье намерен был обновить и наш духовный мир, изменить его климат – в главном: создать новую форму отношений между полами. Взирая на клетку моногамного брака, он писал: «Можно подумать, что форма отношений между полами в моногамном браке придумана неким третьим полом, чтобы как можно больше досадить первым двум». Восхитительная сентенция! Право, стоит заняться французским, чтобы прочесть «Новый любовный мир». Расшатывать прутья клетки лучше с открытыми глазами. Однако чаще случается – глаза застилает пелена, окаменевшие «формы» – как застывший бетон, не пошевельнёшь пальцем без того чтобы нажать синяков в прямом и переносном смысле. Такими мы ступаем на путь – если ступаем на него.

События грянули одно за другим: я получил направление в АКИН, сделал предложение Белоснежке, а за несколько дней до того мы прочли «тайный» доклад Хрущёва о «культе личности».

Мы иногда не подозреваем, как свяжутся события нашей жизни с событиями истории. Когда история в облике «Отечественной Войны» или «социалистической револю-

ции» разбрасывает нас ошметками взрыва, это можно отнести к явлениям «прямодействия» и не ломать головы о возможных последствиях – они ясны и ясны способы их устранения, состоящие в том, чтобы «собрать» – страну, семью, жизнь, одним словом всё, чему удалось уцелеть и сохраниться. Важно другое – «отдалённые последствия» (медицинская терминология тут весьма кстати). Недаром сказано – повседневность это проявление истории до седьмого колена. Если так (а это именно так), то наш *путь*, который мы проходим в поисках *формы*, пролегает в истории. Он исторически обусловлен – и в этом нет ни малейшего преувеличения.

Наша любовь «пролегла в истории». Она неминуемо должна была устремиться в известное русло.

Едва ли не всегда мы делаем предложение («руки и сердца»), боясь потерять женщину, которая кажется нам «идеальной во всех отношениях». «Законный брак» закрепляет владение телом и душой (которая тоже есть некое «тело», хотя это обстоятельство часто упускают из внимания) – и придаёт уверенности в том, что каждый из участников договора обладает монопольным правом распорядиться принадлежащей ему собственностью. Другими словами, брак – это не что иное как замаскированная форма рабства – и вряд ли я сказал тут что-либо новое. Мы убиваем тех кого любим, и причиной тому – наше стремление безраздельно обладать.

Я перебирал мысленно формы, которые могли бы вместить в себя столь важное действие как предложение о бра-

ке. Где? Какими словами? Что делать потом, когда все точки над *i* будут расставлены? Было над чем поломать голову. В конце концов я остановился на варианте что ни на есть простом: мы идём в кафе (ресторан), я надеваю парадный костюм («к обеднешный» – говорил отец), мы заказываем скромный ужин, бутылку шампанского, и перед тем как приступить к трапезе, я говорю ей: «Знаешь, любовь моя, пока ещё нам не принесли... Выход-ка за меня замуж.»

Вот вроде как между прочим я и сделаю предложение. Я мог позволить себе ресторанный ужин. Во времена директивных цен эти «предприятия общественного питания» ломались от посетителей, по вечерам у дверей их выстраивались очереди, и если не заказал заранее столик, то час-два рисковал простоять под дождём или на морозе. Самым ценным знакомством был швейцар, который, увидев через стекло знакомую просительную улыбку, отмыкал засов и протягивал руку в приоткрытый дверной проём, чтобы взять тебя за ладкан и осторожно втянуть внутрь на глазах у потрясённой очереди. И ты сначала проскальзывал один, а девушка (друг) ещё оставались там, на улице, и вы отходили к вешалке, подальше от глаз, ты вкладывал в подставленную ладонь одну, две, три ассигнации, в зависимости от их достоинства и общего положения дел на рынке услуг, швейцар вновь направлялся к двери и вновь отмыкал её и в образовавшуюся щель спрашивал у толпы: «Кто с Володей?» И тот кто был «с Володей» протискивались внутрь и расплывались в бла-

женной истоме от сознания собственной избранности, тепла и предвкушения гастрономических наслаждений.

Теперь же я предпочёл не рисковать. Я заказал два места в «Астории» и позвонил Белоснежке. На этот раз она осталась у замужней подруги, обременённой двумя детьми и престарелыми родителями, и хотя квартира, я знал, большая, являться туда, возмущать спокойствие большого семейства я не чувствовал себя вправе. В других случаях в нашем распоряжении был свой ключ, мы приходили по возможности так, чтобы никого не было дома, и, оказавшись наедине, устремлялись, говоря языком старой доброй литературы, в объятия Эроса. Не хочу много распространяться на эту тему, всякий может подставить сюда свой личный опыт, тем более что состязаться в описаниях такого рода с классиками современности мне просто-напросто не под силу. Только одно следует заметить: моя возлюбленная оказалась много опытнее меня. До поры я решил не задавать вопросов, отнеся данное обстоятельство на счёт женского – материнского – инстинкта, ведущего в любовном мире своими путями. Я не был невинным мальчиком, но обрушенная на меня эротическая фантазия, жаждущая претворения здесь и сейчас, – она была чем-то ошеломляюще новым по сравнению с моим предшествующим опытом, ограниченным несколькими случайными встречами, как правило, оставлявшими привкус чего-то незавершённого и глухую тоску. Не будет преувеличением сказать, что моя романтическая влюблён-

ность, зародившаяся «в лесах» (отцовское – шутовское), после нашей первой интимной встречи обратилась подлинной страстью, когда плоть говорит существенно больше разума, а иногда по-настоящему вопит, доходя до истерики. Вполне понятно, что здесь видится только один выход – завладеть источником и причиной страсти. Всё очень просто. Восхитительная ошибка!

И вот мы в «Астории». Ковры и пальмы на месте. Знакомые швейцары. Доверительно склонившись, метрдотель говорит: сегодня не будет музыки. Тем лучше. Нам не до танцев. После ужина мы поедем знакомиться с моими родителями, а потом ещё надо будет проводить невесту до дома – в том случае, если она не сочтёт возможным остаться на ночь – и вообще остаться у меня. Что до формальностей, то они не замедлят быть. И разве так важно – пройти в анналах гражданского состояния? (К вопросу о родителях.) У меня отдельная комната, правда что, не запирается изнутри, но это сущие пустяки по сравнению с тем как мы рисковали быть застигнутыми хозяевами на чужой территории.

Мы сделали заказ. Не припомню, что это было. Шампанское. Салат. Мясо. Официант ещё какое-то время постоял в суровом ожидании, и я добавил кофе с мороженым. Пора было приступать к делу.

Белоснежка с интересом разглядывала интерьер, она впервые оказалась в большом, «настоящем» ресторане. Но и тут была «как в своей компании». К тому времени я

успел выяснить, что свои наряды она шьёт сама – это позволяло ей всегда немного опережать моду и таким образом быть настоящей модницей. Сегодня, застигнутая врасплох моим замыслом, она не выглядела нарядной и вообще казалась одетой с чужого плеча. Какое-то бесформенное синее платье, больше похожее на халат, туфли на «микрופоре». Я был слегка разочарован и мысленно укорил себя за то что «сочинил экспромт». Но даже в этом простеньком одеянии («для Лубянки» – я неудачно пошутил) Белоснежка оставалась Белоснежкой. Не преувеличу – на нас были устремлены взоры всех мужчин, и даже те что пожаловали с дамами вроде как бы сидели одновременно и за нашим столом – в таком напряжённом перекрестии взглядов мы оказались. Я понял, что место, выбранное мной для столь ответственного акта, могло бы быть и получше, и чтобы совсем не утратить задор, кинулся в пропасть на лёгких крылышках домашней заготовки:

– Вот что, любовь моя, пока ещё нам не принесли... Выходи-ка за меня замуж.

Надо было видеть её реакцию! Мы сидели рядом, бок-о-бок, за длинным восьмиместным столом, у зашторенного окна. Прежде чем вымолвить нелепое предложение, я отгородился спиной, насколько было возможно, от соседей слева; два места напротив были ещё не заняты, никто кроме нас самих не мог быть свидетелем моего провала.

А это был именно провал. Белоснежка рассмеялась так

громко, что все присутствующие в зале, уверен, с возросшим любопытством обратились к нам; я поторопился прикрыть ладошкой обворожительный смеющийся ротик. Со всем некстати, как часто случается, подумал: её наряд, показавшийся мне простецким, не иначе, «последний писк» чудаковатой моды. Когда я наконец отнял руку, она уже не смеялась. Мне показалось, она готова заплакать. Смех и плач – из одного ряда, они так плавно могут перетекать друг в друга, что впору сделать их образцом толерантности. Я не ошибся. Губы её смешно скривились, по щекам поползли слёзы, крупные как дождевые капли в майский ливень. Она даже не пыталась их вытирать. Мой носовой платок, пущенный в дело, немедленно пропитался влагой; одновременно вытирая им от волнения вспотевший лоб, я улавливал знакомый аромат – её кожи, не тронутой, по всему, каким ни то косметическим снадобьем. Горьковатый аромат слёз.

Она при том ни разу не всхлипнула и быстро справилась с собой, приложив заметные усилия к тому чтобы выправить линию губ, восстановить классический рисунок, что обычно именуется «бантиком», но в действительности редок и несмотря на уничижительный эпитет неизменно приковывает взгляд. Платок я спрятал, чтобы никогда больше к нему не прикасаться; пусть осудят меня противники фетишизма. Но ведь уже во мгновение когда я раскрыл рот, чтобы сказать то что сказал, я понял: «новый любовный мир» создаётся ценой отказа.

Нет, «понял» – не то слово. Я ещё и не слышал тогда ни о каких таких мирах. Как же я мог «понять»? Мы способны понять что-то лишь в конце своего крестного пути – если вообще расположены к пониманию.

Я почувствовал странное облегчение. Привкус горечи, которым оно, без сомнения, было напитано, лишь придавал остроты, сродни тому страху, который охватывает при заглядывании в бездну. Пожалуй что, я просто-напросто падал в неё, отбросив теперь уже ненужные, сломавшиеся крылья, и, падая, ощущал приятное щекотание под ложечкой. Кто получал отказ после долгих мучительных размышлений о браке, тому знакома эта странная лёгкость.

И всё-таки я ждал объяснений. Всегда хочется получить официальный отказ, а не пробавляться умолчаниями. Бело-снежка, однако, молчала, маскируя, подумал я, свою растерянность быстрыми, точно рассчитанными движениями, что вырабатывает у женщин привычка подкрашиваться и припудриваться всякий раз когда обстоятельства складываются не в их пользу. Этакая уловка – удержать паузу.

Потом она сказала:

– Ты меня обижаешь.

Я спросил:

– Чем же?

Мог бы и не спрашивать, но диалог, завязавшись, идёт по своим законам. Это начинаешь понимать, занимаясь, к примеру, писанием пьес. Драматург непременно знает,

какими должны быть реплики – на характер, на действие, «мерцающие», возможно ещё какие-то, не помню, – сочиняя, прикладываешь мерки к каждому слову, а на поверку выходит обыкновенная болтовня. Драматург – несчастнейший из писателей, ему не дано права заглянуть в душу. «Чувства – это система поведения» – вот лозунг драматурга, канон, в сущности, низводящий драматургию до литературы второго сорта. Головокружительная психологическая топология предстаёт в ней акробатическим цирком.

Наш диалог в «Астории» был достоин того чтобы стать завязкой какой-нибудь советской пьесы разоблачительного свойства с диссидентствующими героями. Я воспроизведу его дословно. Классифицировать реплики предлагаю читателю.

Итак, на первый «укол» я ответил недоумением: чем я её обидел?

Когда она сочла наконец, что «в форме», последовал ещё вопрос:

– Ты не понимаешь?

– Нет.

Я искренне не понимал. Моё любопытство разгоралось с каждой секундой.

– Тогда слушай.

Она понизила голос почти до шёпота.

– Я хочу бежать из этой страны. Мне же не надо объяснять тебе, что такое цель жизни. Ты человек целеустремлённый.

Она уже знала о моей мечте – *писать* и прочее. В постели часто разбалтываешь сокровенное. Она продолжала:

– Помнишь тот наш разговор зимой, после лыж, когда мы сидели в моей клетке и млели от тепла и уюта. Я спросила – готов ли ты мне помочь? Ты сказал: да.

На этом нас перебили, официант принёс вино и закуску. Салфеткой протёр бокалы, откупорил бутылку, налил шампанское. Мы чокнулись: «За успех». Выпили. Понимая – каждый за своё.

Я спросил:

– Что я могу сделать?

Я искренне хотел помочь ей, но теперь уже отчётливо понимая, что пути наши неминуемо разойдутся. К тому, будоражил страх, – я ступил на минное поле и хорошо это сознавал. Одновременно ощутив голод, мы набросились на еду. Кажется, было что-то изысканное, но вкуса я не почувствовал. На секунду накрывшая меня тень голодного обморока отступила вместе с нервной дрожью, и на их место пришла законная владелица разорённой души – апатия. Я приготовился выслушать любую, заведомо невыполнимую просьбу и немедленно приступить к её выполнению, заранее отказавшись от награды. Пришло время платить по счетам – вот и всё. Женщина дорого стоила везде и всегда. Вместе с апатией я преисполнился цинизма. Когда нам принесли горячее, я заказал бутылку водки. Притупившаяся от сытости боль вскоре должна была снова заявить о себе.

Мы склонились друг к другу – нежная парочка, – наши головы сблизились, она зашептала:

– Я разузнала. Там где ты будешь работать занимаются тем что плавают по морям, исследуя их пригодность к будущим войнам. У института свои корабли. Они называют их научными.

Последние слова она как бы взяла в кавычки – откровенно издевательской интонацией. Я не верил своим ушам. Откуда она узнала? Получив специальность гидроакустика на «закрытом» номерном факультете, я, конечно, знал, чем предстоит мне заниматься. Но всякого рода «подписки о неразглашении», в разное время оставленные в чреве ГБ, надёжно запечатывали мой рот, и даже захоти я рассказать Белоснежке что-нибудь «этакое», слова застряли бы в горле. Она продемонстрировала потрясающую осведомлённость. Я подумал: Мата Хари.

Мы допили шампанское. Я спросил:

– Ну и что?

Она помолчала, желая, видимо, оценить мою предположительную реакцию.

– Мы уплывём.

Тут я не выдержал и рассмеялся. Идея была достаточно сумасшедшая для того чтобы стать, как говорят физики, хорошей рабочей гипотезой. Мой нервный смех, возможно, имел оттенок катарсиса, освобождения – так реагируют на удачную шутку, репризу, остроту. Что ж, в остроумии

ей действительно было не отказать. Меня внедряли агентом в один из советских «мозговых центров», вербовали самым беззастенчивым образом. Я почувствовал, как в душе нарастает волна протеста. Развивать тему я предпочёл в ироническом ключе.

– Мы захватим с собой побольше секретов и будем торговать ими у входа в ЦРУ. Кто больше даст.

Она даже не улыбнулась. Фарсовое начало оборачивалось драмой.

– Если я не ошибаюсь, ты сделал мне предложение, верно?

Я подтвердил: она не ошиблась.

– Я его принимаю. Но с одним условием: поженимся в Америке. Я хочу, чтобы на свадьбе присутствовал мой отец. Разве это не естественное желание?

Я подтвердил: разумеется. Но как же мама?

– Мы найдём способ. Она будет с нами.

«Мы». Значит, вопрос о моём согласии решён?

– Ты будешь стараться и преуспеешь в этой науке с длинным названием – я даже боюсь произнести вслух – и станешь влиятельным человеком – доктором, профессором, академиком. Сколько лет тебе на это потребуется?

Я подумал и сказал:

– Десять.

Откуда слетело ко мне это кругленькое, удобное во всех отношениях число – я и сам не знаю. Будто открылся затвор фотоаппарата, и на мгновение вспыхнула даль – головокру-

жительная научная карьера, – деньги, награды, почести. Голова и вправду слегка кружилась от выпитого шампанского. Но тут я вспомнил, что хочу стать советским писателем. С недоумением, адресованным скорее самому себе, я спросил:

– А когда же я буду писать?

– По ночам.

– Хорошо. Но о чём?

– Я буду подсказывать тебе сюжеты. Вот первый: наша любовь.

– Ну да... Кто ж такое напечатает?

– Ты будешь тайно пересылать свои произведения за границу. Я придумаю тебе псевдоним.

– Меня тут же поймают.

– На это потребуется время. А тогда мы будем уже в Америке.

– Каким образом?

– Ты устроишь меня уборщицей, а лучше поварихой, я неплохо готовлю, – на один из тех кораблей. И однажды где-нибудь там, где они пристают к берегу, эти так называемые научные посудины, – не могут же они по нескольку месяцев болтаться в океане без пополнения запасов, – мы сойдём на берег и попросим политического убежища.

Что и говорить, моя возлюбленная обнаруживала способности, которые до того трудно было в ней заподозрить.

Напомню, стоял апрель тысяча девятьсот пятьдесят ше-

стого года. Мы жили в закрытой стране, в полицейском государстве, где любое неосторожное движение, слово жестоко карались.

Но шпионские страсти находят отклик независимо от подоплёки действия – захватывает сюжет. Криминальный роман, сочиняемый Белоснежкой в моём присутствии, был интересен, если не принимать во внимание, что на роль главного действующего лица прочили меня самого. Впрочем, действие развивалось так стремительно, что я быстро отстал, а когда дело дошло до «политического убежища», и вовсе перестал отождествлять себя с героем повествования. У того была незавидная судьба: изменник Родины, отщепенец, обречённый остаток дней провести в «каменных джунглях», о которых красочно, с неприкрытым ужасом рассказывали нам по радио побывавшие, пожившие *там*.

Мы выпили водки. «За нас». От этого я совсем протрезвел. Белоснежка ждала ответа. Кажется, она не сомневалась в моём согласии. Я понимал, что передо мной враг, но не ощущал никакой враждебности. Чувство – это система поведения, а ведь единственно к чему я стремился – лечь с ней в постель, обладать её восхитительным телом, сделать это обладание безраздельным, вечным, по меньшей мере распространить свои права на всё то время, что нам отведено быть.

Принесли горячее. По залу заструился шумок набирающего обороты веселья. Вот за что я любил «Асторию»: ми-

нимум алкоголя – и тебя подхватывал стремительный лёгкий поток всеобщей приподнятости, которая создавалась благодаря особым акустическим свойствам большого зала. Теперь можно было разговаривать в полный голос, не опасаясь того, что тебя услышат соседи по столу. На какое-то время я забыл о постигшем меня ударе, можно сказать, настоящем крахе, простёршимся всеохватно вперёд и вширь. Так засыпает иногда человек в минуту смертельной опасности. Белоснежка вывела меня из оцепенения очередной подробностью дьявольского плана:

– Я совсем забыла... Ты непременно вступишь в партию. Это уж было слишком. Я попытался возразить:

– Ну да, прямо так взял и вступил. Заслужить надо.

Она согласно кивнула:

– Надо заслужить. Иначе всё рухнет. Тебе не дадут ходу.

Разумеется, прежде ты активно займёшься комсомольской работой.

– Терпеть не могу комсомольскую работу.

– Потерпишь. Ради меня.

Я понял, что обречён. Потому что знание, уже извлечённое и оформленное в чётком понятии «Враг», оставалось абсолютно бесполезным, не проникало в душу, с ним просто нечего было делать. Существует некий закон, в силу которого лишь пройдя путь, мы можем испытать что-то – любовь, презрение, ненависть. Не верьте тому, кто скажет: *он убил своего сына за измену*, – сказавший так просто не потрудил-

ся разобраться в законах, – это непростительно для писателя. Одним словом, вопреки логическим доводам, вспыхнувшему и быстро погасшему возмущению, я внутренне покорился. Перед тем как свалить с ног алкоголь здорово прочищает мозги. Мы выпили ещё. «За успех.» Алкоголь возвращает к самому себе, отбрасывает прочь несущественное, наносное, проявляет – если так можно сказать – некий иероглиф глубинного смысла жизни – не жизни вообще, а твоей собственной, личной, уникальной, неповторимой жизни. Недаром сказано – истина в вине. Я выпил ещё рюмку – один. Мы начали целоваться. Возможно, заметив это и посчитав неуместным, официант принёс кофе с мороженым. Я заказал ещё бутылку портвейна и расплатился. Белоснежка выглядела абсолютно трезвой. Я часто замечал это свойство у женщин – устойчивость к алкоголю. Кажется, это называется повышенной толерантностью. Возможно, тут играют роль качества женского интеллекта.

Что до меня, то картина была вполне определённая: я решил напиться, чтобы трезво оценить ситуацию. Первоначальное удивление, возмущение, страх отступили, и на их место пришло осознание неотвратимости судьбы и тихая покорность её движению. Кроме логики наших планов, существует логика событий. Кто не говорил себе, а чаще другим: «Как-нибудь образуется», или: «Обойдётся», когда ничего другого сказать не находилось, но всё же теплилась надежда на некий выход из положения. Лень, страх и надежда –

вот что мешает посмотреть правде в глаза, отдать себе отчёт в том, что происходит на самом деле. Экспресс-анализ показывал три варианта: расстаться, попытаться изменить – отговорить от сумасшедшего плана мою возлюбленную, изменить себя. Первое было отброшено сразу, без малейших сомнений, не иначе явившись только для равновесия, таким святым духом, не могущим проявить себя кроме как в двух других ипостасях троицы. Отговорить? Тут было над чем подумать. Тогда ещё я не понимал, что существует закон: рациональные доводы бессильны там где правит История. Наши перекрестившиеся пути так сильно разнились на своём протяжении – просто-напросто в силу топографических особенностей – что не могли соединиться без того чтобы не выправить один другого, а не сумев улечься в общую колею, разлететься по сторонам. Год назад мы сошлись как бы на берегу реки и сели в одну лодку, и каждый пытался править по своему разумению, тайком подгребая к берегу или на стремнину, пока наконец нас не вынесло на мель, и чтобы двигаться дальше, надо было в конце концов разобраться с картой. К чему и приступили мы в тот вечер в ресторане «Астория».

Ещё оставалась водка, но мы перешли к десерту и одновременно приступили к портвейну. Иногда следует подпустить «ерша», дабы достигнуть того блаженного состояния, которое сопутствует упомянутому интеллектуальному просветлению. Если верить так называемым литературоведам, то все американские писатели были сплошь алкоголиками,

а Тенниси Уильямс не садился вообще за письменный стол без бутылки виски. К слову сказать, я тоже пробовал – позже – но ничего хорошего из этого не получилось, видимо, по недостатку таланта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.